

ЯНВАРЬ

1

Был час дня — время, когда в Гринвичской обсерватории падает шар. День выдался пасмурным, лед покрывал нулевой меридиан и оснастку широких баркасов на запруженной судами Темзе. Капитаны отмечали время и уровень воды, ладили багровые паруса к норд-осту; груз железа следовало доставить в литейную Уайтчепела, где языки колоколов звонили о наковальни полсотни раз, будто возвещаая о близящемся конце времен. Время измеряли сроками в Ньюгетской тюрьме, растрачивали впустую философы в кафе на Стрэнде, теряли те, кто мечтал, чтобы быстрое вернулось, и проклинали те, кто желал, чтобы настоящее стало былым. Апельсины и лимоны, в Сент-Клементе перезвоны, а колокол Вестминстера молчал.

Время стоило денег на Королевской бирже, где с убыванием дня таяли надежды протащить верблюда сквозь угольное ушко, и в кабинетах кредитного общества «Холборн-Барс», где зубастая шестеренка главных часов посылала электрический заряд дюжине подчиненных

часов, отчего те принимались звонить. Клерки поднимали головы от счетных книг, вздыхали и снова опускали глаза. На Чаринг-кросс-роуд время пересаживалось с колесницы в проворные омнибусы и кэбы, а в покоях Королевской больницы и госпиталя Святого Варфоломея боль растягивала минуты в часы. В часовне Уэсли пели гимн «Текут пески времен», уповая на то, что те потекут быстрее, а в считанных ярдах от церкви на могилах кладбища Банхилл-Филдс таял лед.

В юридических корпорациях типа «Линкольнс-Инн» и «Миддл-Темпл» адвокаты заглядывали в календари и отмечали, что срок исковой давности истекает; в мебелированных комнатах Кэмдена и Вулиджа время летело на горе любовникам, не заметившим, как быстро смерклось, и оно же своим чередом исцеляло их житейские раны. В вереницах домов-близнецов и на съемных квартирах, в высшем свете, низших кругах и среднем сословии время проводили и растрчивали впустую, берегли из последних сил и убивали под нескончаемым ледяным дождем.

Станции подземки «Юстон-сквер» и «Паддингтон» принимали пассажиров, которые текли нескончаемым потоком, точно сырье, которое везут на фабрику, чтобы измельчить, обработать, разлить по формам. На кольцевой линии в поезде, следовавшем на запад столицы, в неверном свете вагонных фонарей у «Таймс» не обнаруживалось добрых вестей, в проходе из порванного мешка высыпались битые фрукты, от плащей пассажиров пахло дождем. Доктор Люк Гаррет, втянув голову в поднятый воротник, вслух повторял строение сердца. «Левый желудочек, правый желудочек, полая верхняя вена», — считая на пальцах, бормотал он в надежде, что эта литания утихомирит бешеный стук сердца. Сидевший рядом с ним господин покосился удивленно, пожал плечами и отвернулся. «Левое предсердие, правое предсердие», — еле слышно произнес

Гаррет, он привык к любопытным взглядам, хотя и старался не привлекать лишнего внимания. Друзья прозвали его Чертенком из-за малого роста (он едва доставал другим до плеча) и энергичной подпрыгивающей походки — того и гляди заскочит с размаху на подоконник. Даже сквозь пальто ощущалась его упругая сила, а лоб так выдавался вперед, словно с трудом вмещал мощный и напористый интеллект, над черными глазами свисала неровная длинная челка цвета воронова крыла. Хирургу сравнялось тридцать два года, ум его был неукротим и ненасытен.

Лампы потухли и снова зажглись. Гаррет подъезжал к своей станции. Через час он должен присутствовать на похоронах пациента, и вряд ли нашелся бы человек, которого меньше печалила утрата. Майкл Сиборн скончался шесть дней назад от рака гортани; и пожиравший его недуг, и хлопоты врача он сносил с одинаковым безразличием. Мысли Гаррета устремились не к усопшему, а к его вдове, которая сейчас (с улыбкой подумал он), наверно, причесывает растрепанные волосы или вдруг обнаружила, что от ее добротного черного платья оторвалась пуговица.

Никогда Гаррету не доводилось видеть столь странного вдовьего траура — впрочем, с первых минут в доме Сиборнов на Фоулис-стрит он почувствовал: что-то здесь нечисто. В комнатах с высокими потолками ощущалась явственная тревога, не имевшая отношения к болезни хозяина. Пациент его в ту пору еще пребывал в относительно добром здравии, хотя и носил на шее заменявший повязку платок — непременно шелковый, непременно светлый и частенько в еле заметных пятнах. Невозможно себе представить, чтобы такой педант случайно повязал несвежий платок, и Люк подозревал, что это делается ради посетителей: пусть им станет не по себе. Из-за чрезмерной худобы Сиборн казался очень высоким, а говорил так тихо, что нужно было подойти к нему поближе, чтобы

расслышать хоть слово. Держался Сиборн любезно. Говорил с присвистом. Ногти у него были синие. Во время первого осмотра он спокойно выслушал рекомендации Гаррета, но от предложенной операции отказался.

— Я намерен покинуть мир таким же, каким в него пришел, — пояснил он и похлопал себя по шелковой повязке на горле, — без единого шрама.

— К чему же терпеть мучения? — спросил Люк, но пациент не нуждался в утешении.

— *Терпеть* мучения? — Сиборна это явно позабавило. — Что ж, полагаю, поучительный опыт, — произнес он и добавил, как будто одно естественно следовало из другого: — Вы уже познакомились с моей женой?

Гаррет часто вспоминал, как впервые увидел Кору Сиборн, хотя, сказать по правде, его памяти едва ли можно было доверять, учитывая все, что случилось потом. Кора явилась в тот же миг, как будто ее позвали, помедлила на пороге, чтобы рассмотреть посетителя, затем пересекла ковер, встала за креслом мужа, поцеловала его в лоб и подала Гаррету руку:

— Чарльз Эмброуз велел звать только вас. Он дал мне вашу статью об Игнаце Земмельвайсе*. Если режете вы так же, как пишете, мы все будем жить вечно.

Польщенный Гаррет рассмеялся и склонился над ее рукой. Голос у Кору был глубокий, но не тихий. Гаррету сперва показалось, что она говорит с акцентом, как вечные странники, которые ни в одной стране не задерживаются надолго, но потом он понял, что это всего лишь небольшое заикание, вынуждавшее удваивать некоторые согласные. Одета Кора была довольно просто, но серая юбка ее переливалась, как шея горлинки. Высокая, но не худая. Глаза серые.

* Игнац Филипп Земмельвайс (1818–1865) — венгерский акушер, один из основоположников дезинфекции.

В следующие несколько месяцев Гаррет начал понимать, что за тревога витала в доме на Фоулис-стрит, смешиваясь с запахом сандала и йода. Даже в смертных муках Майкл Сиборн сохранял устрашающее влияние, не похожее на обычную власть инвалида над близкими. Жена всегда была готова по первому зову принести ему холодный компресс и хорошее вино; она с такой охотой училась, как правильно вставлять иглу в вену, словно вызубрила до последней буквы руководство по женским обязанностям. Но Гаррет не заметил между Корой и ее мужем ни намёка на любовь. Иногда доктор подозревал, что ей хочется, чтобы огарок свечи поскорее потух. Он даже боялся, что, когда будет набирать лекарство в шприц, она отведет его в сторонку и попросит: «Увеличьте дозу. Вколите ему побольше». Целуя истощенное лицо блаженного страдальца, она склонялась к нему так осторожно, словно опасалась, что муж приподнимется и ущипнет ее за нос. Для ухода за больным — переодеть, поменять простыни, отереть пот — нанимали сиделок, но дольше недели они не задерживались. Последняя, набожная бельгийка, столкнувшись с Люком в коридоре, прошептала: «*Il est comme un diable!*»* — и показала запястье — впрочем, совершенно чистое. Лишь безымянный паршивый пес неотлучно сидел у постели хозяина и совсем его не боялся — или, по крайней мере, притворился к нему.

Со временем Люк познакомился и с Фрэнсисом, сыном Сиборнов, черноволосым молчаливым мальчуганом, и с Мартой, его няней; обычно она стояла, собственнически обвив рукой талию Кору — жест, раздражавший Гаррета. Люк бегло осматривал пациента (в конце концов, чем ему можно было помочь?), и Кора уводила доктора к себе — показывать зуб ископаемого животного, который ей прислали по почте, или подробно расспрашивать о том, как он

* Это суший дьявол (*фр.*).

намерен усовершенствовать операции на сердце. Он практиковал на ней гипноз и рассказывал, что во время войны этот метод использовали в качестве обезболивающего при ампутации конечностей; они играли в шахматы, причем Кора каждый раз, к своему огорчению, обнаруживала, что Гаррет обложил ее со всех сторон. Люк поставил себе диагноз «влюблен», но лекарства от этого недуга не искал.

Он чуял таившуюся в этой женщине силу, которая дожидалась удобного случая, чтобы проявиться, и думал, что, когда Майклу Сиборну настанет конец, каблучки его жены высекут искры из тротуара. Конец настал, и Люк присутствовал при последнем вздохе, который получился громким, натужным, как будто в заключительный миг пациент забыл *ars moriendi** и хотел лишь чуть-чуть задержаться на этом свете. Кора же с его смертью ничуть не изменилась и не выказала ни скорби, ни облегчения, только раз ее голос дрогнул, когда она сообщила, что пес издох, и было неясно, то ли она сейчас расплатится, то ли рассмеется. Свидетельство о смерти было выписано, останки Майкла Сиборна увезли, и у Гаррета не было более причин навещать на Фоулис-стрит, но каждое утро он просыпался с одной-единственной мыслью и, подойдя к железным воротам, обнаруживал, что его ждали.

Поезд подошел к «Набережной», и толпа потащила Люка по платформе. Его охватила странная грусть — не скорбь по Майклу Сиборну и не сострадание его вдове, больше всего доктора беспокоило, что эта встреча с Корой может оказаться последней, что он под погребальный звон в последний раз бросит на нее взгляд через плечо. «И все же я должен там быть, — сказал он себе, — пусть даже лишь для того, чтобы увидеть, как закроют крышку гроба». На тротуаре за турникетами растаял лед; белое солнце клонилось к закату.

* Искусство умирать (лат.).